

Посвящается Ханьшаню¹

Прыгнув как-то в самый полдень на товарняк из Лос-Анджелеса в конце сентября 1955 года, я тут же забрался в угол полувагона и улегся, подложив вещмешок под голову, закинув ногу на ногу, созерцал проплывающие облака, а поезд катил на север, к Санта-Барбаре. Товарняк был местный, и я собирался переночевать в Санта-Барбаре на пляже, а на следующее утро поймать еще один местный до Сан-Луис-Обиспо либо в семь вечера сесть на первоклассный состав до самого Сан-Франциско. Где-то возле Камарилло, где Чарли Паркер сначала свихнулся, а потом отдохнул и снова поправился², в мою люльку влез пожилой и тощий бродяжка — мы как раз съезжали на боковую ветку, пропуская встречный, и мужичок, кажется, удивился, обнаружив меня внутри. Сам он устроился в другом конце люльки: улегся лицом ко мне, положив голову на свою жалкую котомку, и ничего не сказал. Вскорости дали свисток, главная магистраль освободилась — там пронесся восточный грузовой, — и мы тронулись; холодало, и с моря в теплые береговые долины потянуло туманом. Мы с бродяжкой после безуспешных попыток согреться, кутаясь в тряпье на стальном полу вагона, поднялись и забегали взад-вперед по углам, подпрыгивая и хлопая себя по бокам. Вскоре заехали еще на одну ветку в каком-то пристанционном городишке, и я прикинул, что мне без пузыря «токайского» не скоротать в сумерках холодный перегон до Санта-Барбары.

— Посмотришь тут за моим мешком, пока я сгоняю за бутылкой?

— Ну дак.

Я перемахнул через борт и сбегал на ту сторону Сто первого шоссе к магазину, где кроме вина купил хлеба и конфет. Бегом вернулся к составу, и ждать пришлось еще четверть часа, хоть на солнышке и потеплело. Но день клонился к вечеру, и мы бы все равно замерзли. Бродяжка сидел по-турецки у себя в углу перед убогой трапезой — банкой сардин. Мне стало его жалко, я подошел и сказал:

— Как по части винца — согреться, а? Может, хлеба с сыром хочешь к сардинам?

— Ну дак. — Он говорил издалека, из глубины кроткого ящичка голоса боялся или не желал утверждать себя. Сыр я купил три дня назад в Мехико перед долгой поездкой на дешевом автобусе через Сакатекас, Дуранго, Чиуауа, две тысячи долгих миль к границе у Эль-Пасо. Бродяжка ел хлеб с сыром и пил вино — со вкусом и благодарностью. Я был доволен. Вспомнил строку из Алмазной сутры: «Будь милостив, не держи в уме никаких понятий о милости, ибо милость все-таки — просто слово»³. В те дни я был очень благочестив и выполнял все религиозные обряды почти в совершенстве. Хотя с тех пор и начал несколько лицемерить в словоизлияниях, слегка устал и зачерствел. Ведь я уже так постарел и остыл... А тогда и впрямь верил в милосердие, добро, смирение, пыл, нейтральное спокойствие, мудрость и исступление, да и в то, что сам я — эдакий стародавний бхикку⁴, только одет по-современному, скитаюсь по миру (обычно — по огромной треугольной дуге между Нью-Йорком, Мехико и Сан-Франциско), дабы повернуть колесо Истинного Смысла, или Дхармы⁵, и заслужить себе положение будущего Будды (Пробудителя)⁶ и будущего Героя в Раю. Я пока еще не встретил Джафи

Райдера — встречу его на следующей неделе — и ничего не слышал о «Бродягах Дхармы», хотя в то время сам уже был совершеннейшим Бродягой Дхармы и считал себя религиозным скитальцем. Бродяжка в нашей с ним люльке лишь подкрепил всю мою веру — потеплел от вина, разговорился и наконец извлек откуда-то крохотную полоску бумаги с записанной молитвой святой Терезы⁷, где говорилось, что после смерти она возвратится на землю дождем из роз с небес — навеки и для всего живого.

— Откуда у тебя это? — спросил я.

— Вырезал из журнала в читальном зале в Лос-Анджелесе пару лет назад. Теперь всегда с собой ношу.

— И что — вселяешься в товарный вагон и читаешь?

— Дак считай каждый день.

После этого он не особо много разговаривал, а про святую Терезу и вовсе не распространялся, очень скромно говорил о своей вере и почти ничего — о себе. На таких тихих тощих бродяжек мало кто обращает внимание даже на Сволочном ряду, уж не говоря про Главную улицу⁸. Если его сгоняет с места фараон, он тихо линяет, а если в больших городах по сортировке шныряют охранники, когда оттуда выезжает товарняк, маловероятно, чтоб они засекали человечка, который прячется в кустах и под шумок прыгает на поезд. Когда я сказал ему, что собираюсь следующей ночью поймать «молнию» — первоклассный скорый товарняк⁹, — он спросил:

— А, «ночной призрак»?

— Это ты так «молнию» зовешь?

— Ты, наверно, работал на этой дороге?

— Ага, тормозным кондуктором на ЮТ¹⁰.

— Ну а мы, бродяги, зовем его «ночной призрак», потому что как садишься в Л.-А., так никто тебя не видит аж до Сан-Франциско поутру, так быстро лётает.

— Восемьдесят миль в час на прямых перегонах, папаша.

— Ну да, только такая холодрыга ночью, коли годишь по берегу к северу от Гавиоты и вокруг Серфа...

— Да, Серф, точно, а потом — горы южнее Маргариты...

— Маргариты, точно, я этим «ночным призраком» ездил стока, что, наверно, и не сосчитать.

— А ты сколько дома не был?

— Стока, наверно, что не считаешь. Сам-то я из Огайо, вот откуда...

Но поезд тронулся, ветер похолодал, полез туман, и следующие полтора часа мы делали все, что было в наших силах и возможностях, чтоб не околеть да притом не слишком стучать зубами. Я весь съезжился и, чтобы забыть о холоде, медитировал на тепло, настоящее тепло Бога; потом подскакивал, хлопал по себе руками, топал и пел. У бродяжки же терпения было больше, и он в основном просто лежал, жуя горькую жвачку в одиноких своих думах. Зубами я выстукивал дробь, губы посинели. К темноте мы с облегчением заметили, как проступают знакомые горы Санта-Барбары: скоро останемся и согреемся в теплой звездной ночи у путей.

На разъезде, где мы оба спрыгнули, я попрощался с бродяжкой святой Терезы и пошел на песок ночевать, завернувшись в одеяла, — дальше по пляжу, у самого подножья утеса, чтоб легавые не увидели и не прогнали. На свежесрезанных и заточенных палочках над углями большого костра поджарил себе «горячих собак»¹¹, разогрел банку фасоли и банку макарон с сыром, выкопав ямки, выпил новоприобретенное вино и возликовал — такие приятные ночи в жизни выпадают редко. Побродил по воде и слегка окунулся, постоял, глядя в сверкающее великолепие ночного неба, в десятичудесную вселенную Авалокитешвары с ее тьмой и алмазами¹².

«Ну, Рей, — грю я, возрадовавшись, — ехать осталось несколько миль. Ты снова это сделал». Счастье. В одних плавках, босиком, диковласый, в красной тьме костра пою, тяну вино, плююсь, прыгаю, бегаю — вот как жить надо. Совсем один, свободный, в мягких песках пляжа рядом со вздохом моря, и фаллопиевы теплые звезды-девственницы Подмигивают Мамулей, отражаясь в водах жидкого брюха внешнего потока. А если консервные банки раскалились так, что невозможно взяться рукой, — берись старыми добрыми железно-дорожными рукавицами, делов-то. Я дал еще немного остыть, чтоб еще чуть проташиться по вину и мыслям. Сидел по-турецки на песке и раздумывал о своей жизни. Ну вот — и что изменилось-то? «Что станет со мною дальше?» Затем вино принялось за мои вкусовые сосочки, и совсем немного погодя уже пришлось наброситься на сосиски, скусывая их прямо с острия палочки, и хрум-хрум, и зарываться в обе вкуснющие банки старой походной ложкой, выживая роскошные куски горячей фасоли со свиной или макарон в шкворчащем остром соусе и, может, чуток песка для приправы. «А сколько же у нас тут песчинок на пляже? — думаю себе я. — Ну-у, песчинок — сколько звезд на этом небе!» (хрум-хрум) а если так, то: «Сколько же человек здесь было, сколько вообще живого было здесь с до начала *меньшей* части безначального времени? Ой-ёй, я так полагаю, надо вычислить, сколько песчинок на пляже, и еще на каждой звезде в небесах, в каждом из десяти тысяч великих килокосмов¹³, и это будет столько песчинок, что исчислишь ни “Ай-би-эмом”, ни “Берроузом”¹⁴, ну елки-палки, да я и не знаю ей-бо (хлоп вина). Я в самом деле не знаю, но, должно быть, ковырнадцать триллионов секстильонов, обязыченное враздрызг и помноженное на черт-те сколько роз, что милая святая Тереза вместе с четким старичком вот в эту са-

мую минуту вываливают те на голову с лилиями в при-
дachu».

Затем с едой покончено, вытерев губы красной ко-
сынкой, я вымыл посуду в соленом море, раскидав не-
сколько комков песка, побродил, вытер тарелки, убрал,
сунул старую ложку обратно в просоленный мешок
и улегся, завернувшись в одеяло, на добрый и правед-
ный ночной отдых. Проснувшись где-то посреди ночи:
«А? Где я, что это за баскетбольство вечности, в которое
девчонки играют прям рядом со мной, в стареньком до-
мишке моей жизни, а домик-то еще не горит, а?» — но
то лишь объединившийся шелест волн, подобравших-
ся выше, чем ближе прилив к моему одеяльному ложу.
«Я стану твердым и старым, как рапан», — и вновь за-
сыпаю, и мне снится, что во сне я выдышиваю три лом-
тя хлеба... Ах, бедный разум человеческий, и одинокий
человек один на берегу, и Бог глядит за ним с сосре-
доченной, я бы сказал, улыбкой... И снился мне дав-
ний дом в Новой Англии, и мои «киткаты»¹⁵ пытаются
догнать меня тысячи миль по дороге через Америку,
и мама моя с мешком за спиной, и мой отец, бегущий
за эфемерным неуловимым поездом, и я видел сей сон
и проснулся на серой заре, узрел ее, понюхал (ибо за-
метил, как смещается весь горизонт, будто великий
рабочий сцены поспешно вернул его на место, чтоб я
поверил в его реальность) и снова уснул, перевернув-
шись на другой бок. «Все одно и то же», — услышал
я собственный голос в пустоте, которую во сне объять
можно, как нигде больше.

2

Бродяжка святой Терезы оказался первым подлинным Бродягой Дхармы, которого я встретил, а вторым стал Бродяга Дхармы Номер Один из них всех — Джафи Райдер, который это название и придумал. Джафи Райдер — пацан из Восточного Орегона, вырос в бревенчатой хижине в лесной глуши с отцом, матерью и сестрой, с самого начала — лесной мальчишка, лесоруб, фермер, любил животных и индейскую премудрость, поэтому когда не мытьем, так катаньем поступил наконец в колледж, оказался хорошо подготовлен к занятиям антропологией, потом — индейскими мифами, а также к изучению подлинных текстов индейской мифологии. В конце концов выучил китайский и японский, стал востоковедом и обнаружил величайших на свете Бродяг Дхармы — Безумцев Дзена из Китая и Японии. В то же время вырос он на Северо-Западе и обладал склонностью к идеализму, а потому заинтересовался старомодным ПРМ-овским¹⁶ анархизмом, научился играть на гитаре и петь старые рабочие песни, что шло рука об руку с его любовью к индейским песням и вообще интересом к фольклору. Впервые я увидел его на улице в Сан-Франциско на следующей неделе (стопом проехав остаток пути от Санта-Барбары за один длинный молниеносный перегон, подаренный мне, все равно никто не поверит, прекрасной милашкой, молоденькой блондинкой в белоснежном купальнике без лямок, босиком, с золотым браслетом на лодыжке, она вела

красно-коричный «линкольн-меркурий» следующего года и хотела бензедрину, чтоб доехать до самого Города, а когда я сказал, что у меня в мешке найдется, она завопила: «Безумно!») — я увидел, как Джафи пылит по улице причудливыми длинными шагами человека, привыкшего лазить по горам, с рюкзачком за спиной, набитым книгами, зубными щетками и всякой ерундой, — то был его маленький «выходной» рюкзак «для города» в отличие от здоровенного рюкзакиши в комплекте со спальником, пончо и котелками. Носил он козлиную бородку, до странности ориентальный, если учесть его слегка раскосые зеленые глаза; но он совсем не походил на богему, он был далеко не богемой (то есть тусовщиком вокруг искусств). Он был жилистый, загорелый, бодрый, открытый, весь приветливый и готовый поболтать — вопил «привет» даже бродягам на улице, а когда у него что-нибудь спрашивали, отвечал без промедления то, что было у него на уме или под оным, уж и не знаю, где, но всегда — бойко и искристо.

— Где это ты встретил Рея Смита? — спросили у него, когда мы зашли в «Место», любимый бар всех хепаков на Пляже.

— О, я всегда встречаю своих Бодхисаттв на улице! — завопил он и заказал пива.

То была великая ночь, в очень многих отношениях — историческая ночь. С некоторыми другими поэтами они (а он к тому же писал стихи и переводил китайскую и японскую поэзию на английский) должны были давать вечер в городской «Галерее Шесть»¹⁷. Все собирались в баре и надирались. Но пока собирались и рассаживались, я заметил, что Джафи там один не походил на поэта, хоть поэтом и был самым настоящим. Остальные были либо хеповыми интеллектуалами в роговых очках и с дикими черными волосами, вроде Альвы Гольдбука, либо бледными нежными красавчи-

ками, вроде Айка О'Шея (в костюме), либо за пределами манерными итальянцами эпохи Возрождения, вроде Франсиса Дапавия (этот похож на молодого священника), либо длинноволосыми старперами-анархистами в галстуках-бабочках, вроде Рейнгольда Какоезеса, либо толстыми, очкастыми и спокойными растяпами, вроде Воррена Коглина. Остальные же подающие надежды стояли вокруг в разнообразных прикидах — в вельветовых пиджаках, протертых на локтях, в сбитых башмаках, с книгами, торчавшими из карманов. А Джафи был в грубой рабочей одежде, купленной в магазине подержанного платья «Добрая воля»¹⁸; она служила ему и в горах, и в походах, и сидеть по ночам у костра, и ездить стопом взад и вперед по Побережью. На самом деле в рюкзачке у него была и смешная зеленая альпийская шляпа, которую он надевал, доходя до подножия горы — как правило, с йодлем, — перед тем как потопать на несколько тысяч футов вверх. На ногах — горные башмаки, дорогие, итальянские, его гордость и радость: в них он громыхал по опилочному полу бара, как некий допотопный дровосек. Джафи невелик — каких-то пять футов семь дюймов, — но силен, жилист, быстр и мускулист. Лицо его — горестная костяная маска, но глаза поблескивали, как у старых улыбчивых китайских мудрецов, оттеняя грубость привлекательной физиономии с этой его бороденкой. Зубы у него побурели оттого, что в детстве в лесах он за ними не следил, но в глаза это не бросалось, хоть он и широко раскрывал рот, хохоча над какой-нибудь шуткой. Иногда Джафи затихал и лишь печально и сосредоточенно пялился в пол, словно его изводили заботы. Временами бывал весел. Он с большим сочувствием и интересом отнесся ко мне, к истории про бродяжку святой Терезы и к моим рассказам о скитаниях на поездах, стопом или по лесам. Тут же заявил, что я — великий Бодхисаттва,